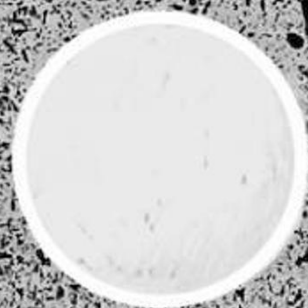


МОШКИ У ЛАМПЫ.



Александр Бындю

Александр Бындю

Мошки у лампы

«Автор»

2026

Бындю А. В.

Мошки у лампы / А. В. Бындю — «Автор», 2026

Человека не спрашивают, хочет ли он лететь. Его просто отпускают — и дальше ветер в лицо, скалы по бокам, солнце, приколоченное сбоку, а внизу серая муть, в которой рано или поздно вспыхивает каждый. Лететь приходится целую жизнь, но почти все об этом забывают. Глеб не забыл. В четырнадцать лет, разбирая с отчимом антресоль, он находит жестяную коробку с чужими письмами. Читает, складывает всё обратно и никому ничего не говорит. Вечером они с мамой желают друг другу спокойной ночи. Роман о том, как трудно услышать близкого человека, когда уже всё про него знаешь. О коробках, которые каждый носит с собой и в которые бывает страшно заглянуть. И о том, что можно успеть сделать по дороге вниз. Основан на реальных событиях.

© Бындю А. В., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Пролог. Тёплое	6
Часть первая. Славный малый	8
1. Четыре песочницы	8
2. Полёт. Один	11
3. Девяносто первый	12
4. Коробка	14
5. Косяки	17
6. Валерьевич	20
7. Полёт. Два	22
8. Троллейбус номер шесть	23
9. Буклет	26
10. Большая Гавань	28
11. Полёт. Три	29
12. Дыра в полу	30
13. Диплом за три недели	32
14. Никита и запрещённые книжки	33
Часть вторая. Мудрец	37
15. Эдуард Львович	37
Конец ознакомительного фрагмента.	41

Александр Бындю

Мошки у лампы

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
Б95

Возрастная маркировка в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ: 16+

Бындю, Александр
Мошки у лампы / Александр Бындю. — 2026.

ISBN 978-5-6050900-2-1

Человека не спрашивают, хочет ли он лететь. Его просто отпускают — и дальше ветер в лицо, скалы по бокам, солнце, приколоченное сбоку, а внизу серая муть, в которой рано или поздно вспыхивает каждый. Лететь приходится целую жизнь, но почти все об этом забывают. Глеб не забыл.

В четырнадцать лет, разбирая с отчимом антресоль, он находит жестяную коробку с чужими письмами. Читает, складывает всё обратно и никому ничего не говорит. Вечером они с мамой желают друг другу спокойной ночи.

Роман о том, как трудно услышать близкого человека, когда уже всё про него знаешь. О коробках, которые каждый носит с собой и в которые бывает страшно заглянуть. И о том, что можно успеть сделать по дороге вниз.

Основан на реальных событиях.

Все права защищены. Никакая часть данной книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме без письменного разрешения владельца авторских прав.

© Текст и оформление. Александр Бындю, 2026

Редактор: С. Святенко
Художник: Н. Рындин

Посвящается моей жене и детям

Пролог. Тёплое

Яркая вспышка. Холод после тепла. Ветер в лицо.
Что происходит? Я лечу?

Надо восстановить порядок. Сначала было тепло.

Я не могу сказать, сколько оно длилось, потому что там — в тёплом — времени не было вообще. Часы придумали позже и для другого. Там было ровно, темно и очень близко: что-то тёплое прилегало ко мне со всех сторон, как хорошо подогнанная одежда, и шумело так, как шумит кровь в ухе, если прижаться к подушке. Я был не отдельно. Это, наверное, главное, что я могу про то время сказать: я был не отдельно. А потом меня отпустили.

Я до сих пор не знаю, кто. И даже не уверен, что это было чьё-то решение, — может, просто край, и край кончился. Вот стоишь ты на тёплом камне, нагретом за день так, что подошвы плавятся; вокруг лето и запах пыли и хвои. А потом мгновение — и камня под тобой больше нет.

Первое, что случилось, — холод. Вычитание тепла — вот что это было: с меня сдёрнули всё, чем я был обёрнут, и на секунду я стал голым до самого нутра. Второе — свет. Он ударил сбоку и снизу, огромный, наглый, ни на что не похожий; я потом много раз пытался вспомнить, какого он был цвета, и каждый раз получалось враньё. И третье — ветер.

Ветер шёл вверх, прямо в лицо, и это было неправильно. Ветер должен дуть с боков и трепать волосы, а этот дул снизу, будто кто-то очень большой поставил внизу вентилятор и включил на полную. Мощный поток воздуха выворачивал губы, лез в ноздри, растягивал кожу на щеках к ушам. Дышать получалось, только если повернуть голову вбок и хватать воздух уголком рта, как хватают воду из-под крана.

Меня крутило. Я думаю, это длилось долго, но я тогда не понимал, что такое «долго». Небо было то сверху, то слева, то подо мной; и один раз я совершенно ясно увидел, что стою на небе, а земля висит над головой, как потолок с картинками. Потом опять перевернуло.

Когда крутить перестало, я разглядел вокруг горы.

Они стояли по обе стороны — тёмные, тяжёлые, с длинными полосами снега в ущельях, — и уходили вверх, туда, откуда меня выдернули. Вершин я не видел. Я видел только, как эти стены проносятся мимо меня и по ним, всё выше и дальше, бегут маленькие облака. Но не они бежали вверх — это я шёл вниз.

Солнце было сбоку — ровно сбоку, на одной линии со мной, будто его прибили гвоздём к скале на уровне моего лица, чтобы я не мог его потерять. Оно было тёплое — единственное тёплое во всём этом. Я тянулся к нему лицом, как тянутся к печке, и от этого меня разворачивало, и я снова начинал крутиться, и снова видел горы, и снова терял солнце.

А ещё я довольно быстро понял, куда обращён головой.

Это трудно объяснить тому, кто не пробовал или не помнит. Голова была внизу: я летел макушкой вперёд. А ноги —верху: там, где остался тёплый камень. Кровь прилиwała к лицу, в ушах стучало. Я летел головой вниз и уже не крутился: ветер поймал меня, выровнял и повёл.

Внизу, далеко, было дно.

Его нельзя было разглядеть — перед ним висела серая мгла, — но оно там было: это чувствовалось так же ясно, как чувствуешь стену в тёмной комнате, ещё не дотронувшись. И что самое паршивое: с каждой секундой оно было всё ближе. Вот прямо сейчас, в эту секунду — ближе, чем в предыдущую; и в следующую будет ещё ближе. И ничего с этим сделать нельзя, потому что ветер идёт снизу, а ты —сверху, и вы движетесь навстречу.

Рядом летели другие.

Их было очень много, и они шли роем — кто головой вниз, как я, кто боком, кто раскинув руки, кто, наоборот, сжавшись в комок. Многие держались парами или тройками. Некоторые волокли за собой узлы, коробки, свёртки; один тащил такой здоровый ящик, что сам почти целиком за ним скрылся — только ноги торчали. Кто-то кричал. Кто-то что-то писал на бумажке и отпускал — её сразу уносило вверх — к тем, кто выше.

И почти все они — вот это меня тогда добило — почти все они вели себя так, как будто никакого полёта нет.

Я долго не мог понять, как у них это получается, потом получилось и у меня.

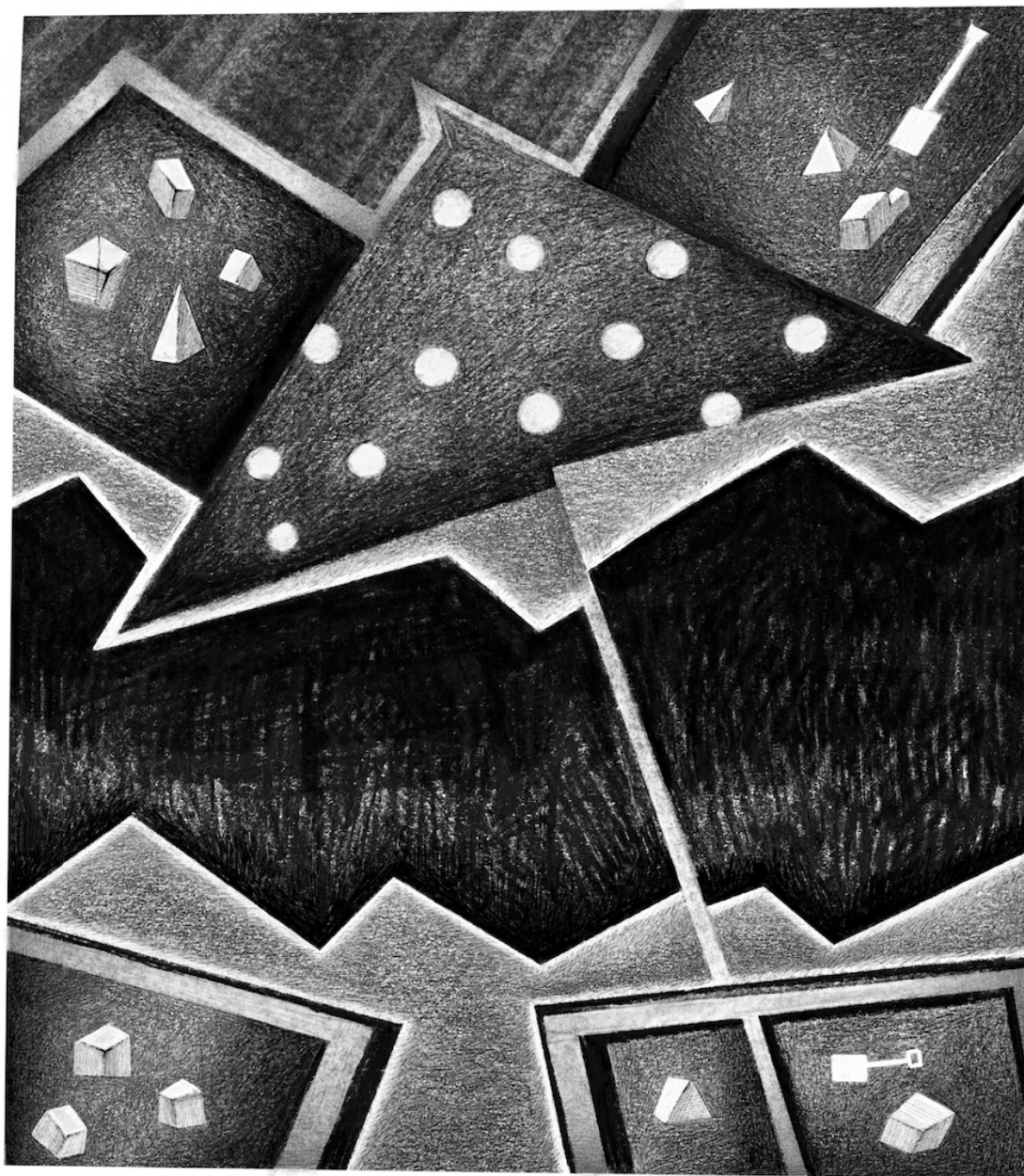
Оказалось, есть такая штука — переворот. В какой-то момент ты перестаёшь замечать ветер. Просто перестаёшь замечать, как перестаёшь замечать гул холодильника. И тогда всё встаёт на свои места: горы становятся домами, мгла внизу — асфальтом, а сам ты — обыкновенным человеком, который идёт по улице ногами вниз — на работу, в булочную, к остановке. Ты идёшь, у тебя дела, ты покупаешь ботинки, злишься на соседа — и вообще ни разу за день не вспоминаешь, что летишь.

А потом откуда-нибудь потянет ветерком — из форточки, из подъезда, из чужого разговора. И на две секунды всё вернётся: горы, солнце сбоку, макушка внизу, серое дно, которое ближе, чем было утром. И ты поспешишь закрыть форточку.

Я не знаю, что конкретно тебе надо рассказывать, поэтому буду рассказывать всё подряд, как получится. Если где-то совру, то не нарочно: память — тоже ветер, она сносит.

Начну с песочниц. Их было четыре.

Часть первая. Славный малый



1. Четыре песочницы

Родился я в Кряжинске, в середине восьмидесятых, в городе, который стоял на воде, стекле и железной дороге. Всё, что там делали, делали из песка и огня, и весь город пах горячим песком. Печи на комбинате почти никогда не гасили. Люди уходили со смены, песок становился стеклом, стекло остывало и уезжало, а огонь оставался.

Отца я не видел. Он был военный, окончил училище с отличием, служил, командовал; когда пришли сказать, что его нет, дед успел подхватить маму. Про меня рассказывали, что я в тот момент чуть не выпал у кого-то из рук, — но это уже семейная легенда, а легенды всегда немного про полёт. Меня собирались назвать Артёмом. Назвали Глебом, в его честь. Так у меня появилось имя, которое сначала носил другой человек, а потом я стал носить — вместо него.

Мамина сторона в Кряжинске была видна отовсюду. Дед, Илья Петрович, был директором стекольного комбината. Что такое стекольный комбинат в те времена — надо понимать: это не завод, это порт. Через него шло всё. Дед знал в городе буквально всех и каждого, и поэтому все знали меня. Я выходил во двор и был уверен, что вокруг живут исключительно мои дяди и тётки: меня гладили по голове, целовали в лоб, совали конфеты. Жена деда, бабушка Зоя, работала на центральной базе. Что такое центральная база в стране, где всего не хватает, тоже надо понимать. Это когда дефицит лежит у тебя в руках и потоки его распределения — тоже у тебя.

С папиной стороны я не знал никого. Его родители, как мне объяснили, горе не пережили — остались живы, но именно не пережили: съехали куда-то вниз, в социальную яму, и оттуда больше не показывались.

Двор у нас был роскошный. Четыре песочницы — это по нашим меркам почти богатство. Куча деревьев: тополя, черёмуха; деревянный городок со сказочными зверями: у медведя был отломан нос, и мы совали в дырку окурки, которые тут же и находили, — просто чтобы у медведя была трубка. В третьем подъезде жил дядя Гена с баяном. Он выносил его на лавку раза три за лето, играл, пока не уставала рука, и уносил обратно. Больше я про него ничего не знаю и не помню даже, как он выглядел. Детей во дворе водилось человек сорок. Мы бегали от подъезда к подъезду, у нас были государства, границы и войны, и всё это было чисто наше. Я потом много раз пробовал объяснить своим детям, что такое «чисто», и не смог. Это не про мусор.

Школу, куда я пошёл, строил дед, когда был директором. Поэтому меня там тоже как-то знали и как-то не трогали; и вообще там оставался хороший коллектив — так говорили взрослые, а я это чувствовал кожей, не понимая слов. У нас был учитель, Николай Иванович, которого мы звали Никиванычем; он водил нас в лес с рюкзаками на два дня и вёл у нас гимнастику. Из-за него я умею делать рондат и сальто. Ни то ни другое мне в жизни ни разу не пригодилось, и я до сих пор считаю это лучшим, что мне дали в школе.

Я, кажется, всегда видел чуть больше, чем полагалось.

Не в мистическом смысле — я не видел ангелов. Я видел, что тётка Валя, которая гладит меня по голове, на самом деле любит деда, а точнее — его положение в обществе. Я видел, что двое взрослых, которые разговаривают про рыбалку, на самом деле разговаривают не про рыбалку; и видел, что мальчик, который громче всех смеётся, боится. Я видел это точно так же, как видел, что у медведя отломан нос, — как факт, лежащий на поверхности.

Проблема была в том, что я не понимал, откуда я это беру. Спросить было не у кого. Взрослые на такие вопросы отвечали: «Не выдумывай», и я быстро выучил, что вслух этого говорить нельзя, потому что от такого людям делается неуютно и они начинают тебя не любить.

Как-то тётка Валя погладила меня по голове и спросила, дома ли дед. Я поинтересовался: «А если его нет, вы не зайдёте?» Она убрала руку. Мама велела не выдумывать. Я тут же сообщил, что дед дома, что чайник уже поставили, и побежал распахивать дверь в дедову комнату. Тётка Валя снова улыбнулась. С того дня я решил быть славным малым.

Про отца дома почти не говорили. Была фотография — молодой, скуластый, в фуражке, смотрит чуть мимо объектива, — и была мамина спина, которая иногда становилась очень прямой, когда кто-то в гостях неудачно шутил. Я тогда не понимал, что происходит, и чувствовал только, что в комнате поменялось давление — как перед грозой.

Маму звали Лидой. Она работала в институте, в лаборатории покрытий: делала стекло, которое не запотеваet и не обрастает льдом. У неё было изобретение, настоящее, с бумагой. Она приходила поздно, от неё пахло чем-то резким и чистым, и она умела объяснить любое явление в мире за две минуты. Я спрашивал, почему лужа замерзает с краёв, и получал лекцию, из которой понимал половину, — и эта половина была лучше, чем целое от кого угодно.

Один раз я спросил, почему у Сашки Тарана нет папы. Мама сказала: «У Сашки папа есть, просто он живёт отдельно». Я спросил: «А у меня?» Она сказала: «А у тебя папа был лучший». И вот в этой фразе, в её строении, в этом «был лучший» вместо «есть» я услышал что-то такое, чего мне тогда никто не собирался объяснять.

Кроме фотографии, была ещё синяя жестяная коробка из-под чая — с индийским слоном на боку. Она лежала на антресоли, в самом углу, за ящиком с инструментом. Я про неё знал лет с шести и ни разу не полез: не потому, что запрещали — про неё вообще никогда не говорили, — а потому, что дети очень точно чувствуют, куда в доме не ходят.

У меня была вменяемая мать, и я до сих пор считаю, что вытянул счастливый билет, хотя вокруг было темно.

Ещё была бабушка Зоя, у которой всё было — в смысле, вообще всё. К ней приходили люди с лицами, я запомнил эти лица: очень вежливые, очень заискивающие, очень готовые услужить, — и бабушка с ними разговаривала спокойно и коротко, и они уходили счастливые. Я тогда впервые увидел, что власть — это совсем не про должность. У бабушки не было никакой должности. У бабушки был доступ.

А вечером бабушка приносила домой красную икру и говорила деду: «Илья, я сегодня Гальке помогла с сапогами». И дед кивал. А через месяц Галька что-то делала для деда. И это тоже было не про деньги, а про то, что стать кому-то должным — это связка.

Мне было лет шесть, когда я снова почувствовал ветер — летом, во дворе, в самый обычный день. Я сидел на бортике второй песочницы, ковырял в ней палкой и вдруг перестал слышать двор: как будто выключили. Осталось только гудение — ровное, низкое, — и я совершенно отчётливо понял, что все мы куда-то очень быстро движемся. Все: и я, и Санька, и медведь без носа, и тётя Валя с сумкой, и сама песочница. Что мы падаем, и что горы стоят по бокам, и что где-то очень далеко внизу нас всех ждёт одно и то же. Это длилось секунды три.

2. Полёт. Один

Ты когда-нибудь пробовал не смотреть вниз?

Это очень просто, если знать приём: надо смотреть в стороны. По бокам всегда есть скала, а скала — вещь надёжная: у неё фактура, трещины, кустики растут прямо из камня, и если долго на них смотреть, то возникает полное ощущение, что ты стоишь, а не падаешь. Некоторые доводят это до совершенства: держат голову строго на уровне горизонта и за всю жизнь ни разу не опускают глаз ниже. У них потом шея становится такая, что не повернуть.

А ещё можно смотреть вверх. Наверху красиво. Там остался тёплый край, оттуда идёт свет, оттуда время от времени сыплется всякое — сухая трава, песок, мелкие камни; они догоняют тебя и обгоняют. Наверху всё было хорошо. Наверху мама молодая и все живы. Смотреть вверх — самое приятное занятие в полёте, но у него есть побочный эффект: пока смотришь вверх, падение не замедляется.

Вниз не смотрел почти никто.

Я потом заметил закономерность: чем ближе человек ко дну, тем меньше он смотрит вниз. Логика вроде бы обратная, а на деле так. Ребёнок, которого только сбросили, вертит башкой во все стороны, ему всё любопытно, он глядит и вниз тоже, — и ему не страшно, потому что дно от него далеко и он его толком не понимает. А кто летит давно, тот держит подбородок ровно и разговаривает исключительно о посторонних вещах.

Однажды рядом со мной летел мужик, повернувшийся лицом вверх — туда, откуда все мы вышли. У него было счастливое лицо. Он что-то говорил — я не слышал, что, — и летел так, наверное, уже лет тридцать. Он вообще не знал, что там, куда он движется, — потому что ни разу туда не посмотрел.

Я тогда подумал: вот же красавец; и только потом: а я-то чем лучше?

Скалы шли по бокам. Иногда они сходились так близко, что было слышно, как ветер поёт в щелях, и тогда становилось тесно и гулко, как в подъезде. Иногда расходились, и открывалось огромное пространство с косым светом, и в этом свете было видно, сколько нас летит. Тысячи. Десятки тысяч. Люди, люди, люди. И у каждого своё выражение лица.

Солнце висело сбоку, приколоченное. К нему тянулись все.

А внизу, если всё-таки опустить глаза, клубилась серая муть, и в ней иногда что-то вспыхивало — коротко, беззвучно, как далёкая сварка. Каждая вспышка означала, что кто-то долетел.

Вспышек было столько, что если бы кто-то догадался их считать, ему пришлось бы считать всю жизнь и он не успел бы больше ничем заняться. Никто не считал.

Потом потянуло откуда-то сбоку тёплым, запахло жареным луком, Санька заорал, чтобы я отдал лопатку, — и всё встало на ноги. Я слез с бортика песочницы и пошёл играть.

3. Девяносто первый

А потом кто-то махнул палочкой, и всё скатилось.

Я бы сказал «в один день», но это, конечно, неправда, просто у меня в голове это лежит как один день. Вот двор с четырьмя песочницами, черёмуха, медведь с окурком в носу. А вот двор перекопан. Весь. Траншея наискось, глина вывалена горами, деревья выкорчеваны и лежат корнями вверх, как будто их тоже кто-то сбросил. И таким я помню этот двор следующие лет шесть или семь.

Запах был затхлый, глинистый, с гнильцой. Он стоял всё детство, и до сих пор, когда в городе роют теплотрассу, я иду мимо и у меня внутри что-то съезжает.

Появились гопники. Появились шприцы: сначала мы их находили и рассматривали как диковинку, — а потом они стали мусором, на который не смотрят. Появились слова, которых раньше не было: «стрелка», «поднять», «отжать». Дворы получили имена — Калифорния Первая, Калифорния Вторая, Грибы, Насосная, — и все со всеми зачем-то дрались. Зачем — не знал никто. Спроси любого из них тогда: зачем? — он бы не ответил.

Помню, как весь дом ломанулся за сахаром, потому что сосед сверху сказал, что сахар кончится. Взяли по три мешка. Потом сахар застыл и его выкинули. Через полгода то же самое произошло с солью, потом с мылом, потом с бензином. Толпа всегда доедает гречку и сразу бежит за бензином, причём каждый в этой очереди твёрдо уверен, что он-то как раз действует разумно, а вот те, кого в очереди нет, — идиоты.

Мы играли в баскетбол на асфальтовой площадке за гаражами, и однажды к моему другу Севе Пахомову подошли трое и приставили нож к животу. Просто чтобы посмотреть, как он себя поведёт: у Севы взять было нечего. Он повёл себя правильно: стоял и молчал. Я был рядом и видел, как кончик ножа вдавил майку, собрав ткань в маленькую складку.

Они постояли, посмеялись и ушли.

Мы потом это не обсуждали. Ни в тот день, ни через двадцать лет.

Есть целый пласт жизни, который просто был, и всё; он не складывается в анекдот, не годится для тоста, из него не выжимается мораль. Он лежит внутри тяжёлым песком.

Меня, кстати, почти не трогали. Вся эта возня — кто кого, чей двор, кто ответит за слова — была мне неинтересна.

Про нож я маме не рассказывал. Возвращался домой, улыбался и говорил, что всё нормально.

Сам я за всю жизнь дрался один раз — в третьем классе.

Я вообще любил людей. Мне нравилось разговаривать, знакомиться, быть со всеми в хороших отношениях. Ссориться не любил. Если меня доставали, я обычно терпел, пытался отшутиться, ждал, когда отстанут.

В тот раз не дождался.

Один одноклассник меня довёл. Чем именно — сейчас уже не объясню так, чтобы стало понятно, почему всё кончилось дракой. Потом он на меня напрыгнул. Было больно, и я вдруг перестал себя удерживать.

Я его избил. Даже когда уже можно было остановиться, мне хотелось ударить ещё. Ничего другого в эту минуту не хотелось.

После драки я пошёл умываться и стоял у раковины, подставляя ладони под воду. Ко мне подошёл ещё один одноклассник и сказал, что я был неправ.

Злость ещё никуда не делась. И я его головой разбил зеркало. На краю раковины остался кусок стекла с чёрной кромкой. Он просто подошёл и сказал фразу. А я это сделал.

Потом он всегда разговаривал со мной очень уважительно, даже почтительно. Его считали самым сильным. И кому-нибудь такая перемена, наверное, понравилась бы, а я с ужасом вспоминал, что он на меня даже не нападал.

Я пробовал представить со стороны: как стою у раковины, как человек подходит поговорить, и что происходит дальше.

Мне становилось страшно от того, как мало мыслей и времени между его словами и моим ударом.

Силы во мне оказалось много. Позже спорт это подтвердил: я мог долго продолжать, когда остальные уставали. Мне нравилось обнаруживать, сколько я выдерживаю. После той драки я знал и другое: человек, который находится рядом, может столько не выдержать.

Спорт помогал сбрасывать ярость. Потом были дзюдо и айкидо. На занятиях приходилось помнить о человеке, которого держишь руками: чувствовать, сколько уже достаточно, и останавливаться, когда сам ещё можешь продолжать.

Я этому учился.

И до сих пор бывает, что хочется кому-нибудь уши открутить. Желание вполне знакомое, я его узнаю. Стараюсь заметить раньше, чем начну что-нибудь делать, чтобы истерика не испортила моё собственное отношение к самому себе.

Сильно позднее я стал разбирать такие истории с того места, где ещё можно было остановиться. Если я довёл ситуацию до драки, значит, до этого уже успел наделать кучу ошибок. Где-то продолжил, хотя можно было уйти. Где-то додумал за другого и сделал неправильный вывод из ситуации.

Тот мальчик у раковины вообще пришёл ко мне с разговором.

Другие уроки я получал дома, слушая, как мама разговаривает с людьми по работе. Мама, когда институт закрылся, сделала то, что тогда сделали тысячи умных женщин: она пошла в коммерцию. Взяла у знакомых старый станок и стала печатать — сначала на плёнке, потом на стекле. Бланки, вывески, наклейки на бутылки местного пивзавода. Я с двенадцати лет знал, как устроен растр, почему шрифт рисуют вектором, а не точками, и что бывает, если краска слишком жидкая.

Однажды я слышал, как она разговаривает по телефону с человеком, который её кинул на партию. Она говорила очень спокойно, очень вежливо и очень медленно. Я стоял в коридоре, слушал, и у меня по спине шли мурашки, потому что я понимал: она сейчас его уничтожает, а он ещё не знает.

Потом она положила трубку, повернулась и сказала мне обычным голосом: «Иди мой руки».

Вот это, я считаю, и есть образование.

Отчим появился, когда мне было лет пять. Валера Северцев — строитель, здоровый, шумный, с руками как лопаты, — добрый, в общем-то, мужик. Он занял место — то самое, пустое, — но не занял функцию. Он был рядом, но его не было там, где он был нужен. Это очень трудно объяснить и невозможно предъявить: он же ничего плохого не делал. Он просто был не там.

4. Коробка

Антресоль вскрыли в июле, на третий день ремонта.

Мама была на работе — цех тогда только встал на ноги, она уходила в семь и возвращалась в десять. Дома был Валера. Он снял дверцы, сложил их у стены, влез на табурет и стал подавать мне сверху то, что там лежало: рулоны обоев, коробку с ёлочными игрушками, ящик с инструментом, чемодан без ручки, свёрнутую палатку, чей-то валенок.

— Держи. Держи, говорю, не роняй.

Мне было четырнадцать. Я стоял внизу и принимал.

— Всё, — сказал он. — Пусто.

Он полез слезать и зацепил что-то ногой — оно соскользнуло и упало.

Это была жестяная коробка из-под чая, синяя, с индийским слоном на боку. Она ударилась об пол, крышка отскочила, и содержимое поехало по паркету веером.

— Ой, бли-и-ин, — сказал Валера. — Собери там.

И ушёл на кухню курить.

Я сел на корточки.

Первое, что я взял в руки, была фотография. Молодой человек в форме, скуластый, смотрит чуть мимо объектива — я знал эту карточку: она стояла у мамы в спальне, только там она была в рамке и меньше. Здесь она оказалась большая и подписана карандашом на обороте: «Кряжинск, июнь...» Год я разбирать не стал, потому что руки уже сами собирали дальше.

Орденская книжка. Военный билет. Свёрнутая вчетверо бумага с печатью, которую я не стал разворачивать, потому что понял по формату, что это.

Пачка ключей на кольце.

Детский рисунок — солдатик с несоразмерно большой головой. Я нарисовал его, наверное, лет в пять.

И письма.

Их было много — штук двадцать, может, тридцать, перевязанных бечёвкой в два оборота. Конверты пожелтели по краям, какие-то были без марок — значит, их передавали из рук в руки. Бечёвка была затянута аккуратно, узел бантиком, и это меня почему-то зацепило сильнее всего: кто-то не просто сунул их в коробку — кто-то сложил их ровно, обмотал и завязал бантик.

Почерк на конвертах был женский. Я это увидел сразу, ещё не думая, — по наклону, по тому, как закруглялись «д» и «у». И на конвертах не было ни адреса, ни фамилии, только буква.

«Г.»

Я сидел на корточках в разобранном коридоре, вокруг стоял запах извёстки, из кухни тянуло дымом и Валера гремел чайником. Я держал эту пачку и точно знал, что сейчас сделаю. Не колебался ни секунды.

Снятые со стены электронные часы стояли на полу у косяка и показывали 14:07. Я ещё раз прислушался к звуку на кухне.

И развязал бантик. Читал вразнобой, хватая куски. В каком порядке попадались письма, уже не помню.

«Г., ты опять не пришёл. Я прождала до без четверти».

«Г., я всё понимаю про твою службу, но я больше не могу так. Скажи мне что-нибудь окончательное».

«Г., я видела её вчера у гастронома. Она красивая. Мне было очень плохо».

Вот на этой строчке у меня в ушах что-то щёлкнуло, и звук из кухни пропал.

Я продолжил перебирать. Даты были — не на всех, но были: восемьдесят третий, восемьдесят четвёртый, восемьдесят пятый. То есть до, во время и после того, как мои родители поженились, и до, во время и после того, как я, судя по арифметике, появился.

А в самом низу пачки, отдельно, лежал листок в клетку, сложенный вдвое, исписанный до половины и оборванный на полуслове. Почерк там был другой — крупный, наклонный, с длинными хвостами у «р» и «у»; мужской.

«Милая Т.

Я много раз начинал это письмо и много раз рвал. Ты знаешь меня лучше, чем я сам, поэтому не буду делать вид, что я хороший человек и что у меня были причины. Причин не было. Было то, что было. Сейчас всё изменилось. В ноябре у нас будет ребёнок. Я не имею права ставить тебя перед выбором, потому что выбора у тебя всё равно нет, ты его не сделаешь, а я...»

И всё. Дальше страница была чистая. Я прочитал это, наверное, раз восемь.

«В ноябре у нас будет ребёнок». В ноябре у них был я. То есть человек, чьё имя я ношу, ещё до моего рождения писал какой-то женщине письмо, и это было письмо человека, который уходит, или который не может решиться уйти. Что, в сущности, одно и то же, просто вторая версия трусливее.

Я не заплакал. Мне это до сих пор странно.

Я снова посмотрел на часы: 14:18. Всего одиннадцать минут. Я думал, прошло гораздо больше. Из кухни донёсся звон ложки о стакан.

Я сложил всё обратно. Аккуратно, в том же порядке: письма вниз, обвязал бечёвкой, узел бантиком — я старался, чтобы бантик вышел такой же, — сверху билет, книжка, бумага с печатью, фотография, мой рисунок солдата. Закрыв крышку и нажал по краям, чтобы села плотно.

Потом залез на табурет, приподнялся на носки и задвинул коробку в дальний угол антресоли, до самой задней стенки.

Из кухни вышел Валера с кружкой.

— Собрал?

— Собрал.

— Молодец. Пошли обои мерить.

И мы пошли мерить обои.

Вот эту деталь я потом рассказывал одному человеку, и он сказал: не может быть. Не может быть, чтобы четырнадцатилетний мальчик прочитал такое и пошёл мерить обои.

Может. Ещё как может.

Вечером пришла мама.

Она была усталая, на руке — свежая ссадина от резака. Разувшись в коридоре и посмотрев на голые стены, она сказала: «Ну, красота». Потом она мыла руки, потом ела стоя, потом села на табуретку в кухне, скинула тапки и вытянула ноги. Я стоял в дверях и держал в себе вопрос.

Он был очень простой, этот вопрос.

«Мам, кто такая Т.?»

Я его не задал.

Я не задал его не из-за стеснительности и не потому, что боялся её ранить, хотя это звучит благороднее и я много лет объяснял себе именно так. Я не задал его, потому что уже решил, что знаю ответ.

У меня в руках был кусок чужой жизни, и я прочитал в нём ровно то, что был способен прочитать. И вынес приговор за одиннадцать минут. Без защиты, без вопросов, без единой попытки узнать хоть что-нибудь ещё. Я был скор на необоснованные выводы уже тогда — просто тогда это ещё никому не мешало, кроме меня.

Мама устало подняла на меня глаза:

— Ты чего застыл?

— Ничего. Спокойной ночи.

— Спокойной.

Я ушёл к себе и лежал в темноте, и в темноте у меня в голове очень быстро, за какие-нибудь полчаса, собралась конструкция. Конструкция была стройная и объясняла всё.

Она объясняла, почему у мамы делается прямая спина, когда в гостях неудачно шутят.

Она объясняла, почему про отца дома не говорят и почему бабушка Зоя один раз, давно, сказала непонятную фразу и тут же осеклась.

Она объясняла, почему меня хотели назвать Артёмом, а назвали в честь него: чтобы закрыть тему. Чтобы имя стало памятником, а памятник не обсуждают.

И главное — она объясняла мир.

Потому что если человек, который считался лучшим, который погиб и которого не с чем сравнить, — если он оказался таким, то что говорить об остальных. Значит, предаёт кто угодно. Значит, самый близкий предаёт первым. Значит, это устройство.

И тогда я дал себе слово.

Оно было сформулировано именно такими словами, я их помню: «Меня никогда никто не предаст».

А как это обеспечить технически, я тогда же и придумал, лёжа в темноте, за те же полчаса. Двумя способами.

Первый: никого не подпускать так близко, чтобы предательство стало возможным.

Второй: построить вокруг себя такой мир, в котором людям будет невыгодно меня предавать. Дать им столько, чтобы они не смогли. Стать для них незаменимым. Устроить всё так, чтобы уйти от меня было дороже, чем остаться.

Четырнадцатилетний мальчик в тёмной комнате в разобранной квартире изобрёл бизнес-модель, семейный уклад и невроз одновременно. Довольно эффективно для одного вечера.

Утром я встал, съел кашу и поехал на тренировку. Тренер сказал, что я сегодня злой и это хорошо.

А через три дня я бросил девочку, с которой ходил гулять с апреля. Без причины. Она спросила, почему, я сказал: «Просто». Она заплакала, а я стоял и наблюдал за собой со стороны — с интересом, как наблюдают за химическим опытом, — и отмечал, что мне ничего.

Ветер я почувствовал ещё на бортике второй песочницы. В тот июльский вечер, в разобранной квартире, меня снова развернуло головой вниз, и я увидел серую муть...

И не отвернулся.

5. Косяки

Спас меня, как ни смешно, баскетбол.

К тому времени я играл уже несколько лет. В пятом классе, когда я перешёл в лицей, физрук объявил набор, и я сразу поднял руку. Тётя Рита была капитаном сборной города, её муж, дядя Ким, — тренером; я с детства сидел на деревянных трибунах, где пахло мастикой и потом, и смотрел, как взрослые тётки в майках и шортах орут друг на друга, а после игры обнимаются. Мне тоже хотелось туда, на площадку.

Я тогда вообще пробовал стать своим везде.

У гаражей собирались ребята, которых в школе называли шпаной. Они разговаривали громко, учителей звали по кличкам и, казалось, вообще никогда не сомневались, можно им что-нибудь или нельзя. Мне хотелось, чтобы для меня у них тоже нашлось место.

Однажды по дороге на тренировку меня окликнули. Один подвинулся на бетонной плите. Я сел рядом, поставил сумку между ног.

— Опять в свой зал?

Я кивнул.

— И не надоело?

Я сказал, что надоело. Потом стал рассказывать про тренера: передразнил, как он орёт, сколько заставляет прыгать. Ребята смеялись, и я вдохновенно добавлял подробности — некоторые сочинял прямо по ходу.

Когда собрался уходить, мне сказали:

— Да сиди. Успеешь.

Я сел обратно. До этого весь день ждал тренировки.

В зал прибежал, когда наши уже разминались. Один спросил, где я пропадал.

— С этими у гаражей сидел?

Я услышал, как он произнёс «с этими».

— Да прицепились, — сказал я. — Еле отвязался.

Он одобрительно кивнул. Я быстро переоделся и выбежал на площадку. Стало легче: здесь меня тоже приняли.

После истории с письмами я начал приходить в зал раньше всех. Дома можно было часами лежать и вспоминать обрывки писем из коробки. Здесь мне кричали: «Северцев, твой!» — и приходилось бежать.

Больше всего я любил, когда получался хороший пас. Ты ещё только опускал руки после передачи, а кто-нибудь уже выскакивал к кольцу и клал мяч от щита. Когда мы бежали обратно к своему кольцу, Серёга Комков хлопал меня по ладони так, что немели пальцы.

— Ещё такой дай.

Я давал.

После тренировок шёл по квартире и доставал рукой все косяки подряд. Мама ругалась: на притолоках оставались чёрные пятна. Я обещал больше не трогать, выходил из кухни, видел над головой белую перекладину и прыгал.

Первые медали лежали в коробке из-под обуви. Встряхнёшь — гремит как мешок с гайками. Я доставал, перебирал и складывал обратно.

Когда в очередной раз мы ехали на областные соревнования за следующими медалями, в автобусе Серёга придержал мне место у окна. Мы открыли пакет с бутербродами ещё до выезда из города. Кто-то сзади подсчитывал, с кем придётся играть в финале. Я обернулся, добавил что-то про прошлогодних соперников и тоже стал считать.

Первую команду нам дали из посёлка. У них были майки разных оттенков, у одного номер на спине шёл наискосок. Разминались они своим мячом, лысым, с тёмными швами.

— Они с ним играть собрались? — пошутил Серёга.

Я засмеялся. Парень с косым номером услышал, посмотрел на нас и пошёл за укатившимся мячом.

Начали мы хорошо. Я отдал Серёге на ход, он вышел к кольцу слева и положил мяч от щита. Когда возвращались в защиту, хлопнул меня по ладони. Потом ещё раз получилось. На скамейке наши орали, и я уже жалел, что мама не приехала.

А потом они взялись перехватывать наши передачи. Я видел, как Серёга открывается под кольцом, отдавал ему — и между нами уже оказывалась чужая рука. Парень с косым номером несколько раз убегал к нашему щиту раньше, чем мы успевали развернуться.

Серёга после очередного промаха остался под кольцом: поднял руки и доказывал судье, что его толкнули. Они тем временем уже бежали к нам. Я бросился наперехват, задел мяч кончиками пальцев и упал, ободрав колено. Мяч они удержали и забили.

К перерыву мы проигрывали. У скамейки толпились, тянулись к бутылкам с водой. Серёга вытер лицо нижним краем майки.

— Давай раньше, — сказал он мне. — Я под кольцом открываюсь.

Я кивнул.

После перерыва я отдал раньше. Серёга поймал, повернулся к кольцу, но перед ним уже стоял второй защитник. Бросок накрыли.

— Ещё дай.

В следующей атаке он полез туда же и потерял мяч. Я заметил, что один из соперников бросает своего и смещается к Серёге заранее, едва мяч оказывается у меня. Справа наш оставался один. Я отдал ему, он забил без помех, и тренер с лавки крикнул:

— Вот! Северцев, ещё туда!

Перед вбрасыванием Серёга подошёл ко мне.

— Ты чего меня выключил?

— Я тебя не выключал.

— Тогда и давай мне. Я их пройду.

Он смотрел на меня и ждал. Я мог сказать про того, который заранее подбирался к нему. Сказать было недолго.

— Сейчас дам, — сказал я.

Несколько раз мы перехватили мяч и убежали к их кольцу. На скамейке опять закричали, я вытер ладони о майку. Под конец мы вышли вперёд, но они снова забили. Теперь уступали очко, до сирены оставались секунды.

Тренер взял тайм-аут, поймал меня за локоть.

— Вправо играй. У них там пусто. Чего ты всё в одно место суёшь?

— Понял.

Серёга стоял рядом и смотрел на их скамейку. Возвращаясь на площадку, он толкнул меня кулаком в плечо.

— Давай, Глеб. Сейчас сделаем.

Я ужасно хотел, чтобы мы сделали. Чтобы он забил, чтобы все вскочили, чтобы в автобусе мы потом вспоминали, как вытащили эту дурацкую игру. У меня уже было готово, что я скажу.

Я получил мяч после вбрасывания и повёл его на чужую половину. Справа наш выбежал к кольцу — за ним никто не успевал. Серёга слева крикнул:

— Мне!

Я отдал ему.

Он пошёл к кольцу, но на броске перед ним снова оказались двое. Один накрыл мяч ладонью. Мяч отскочил ко мне под ноги. Я нагнулся за ним — и прозвучала сирена.

На их скамейке завизжали. Парень с косым номером повис у кого-то на шее, остальные сбились вокруг них. Серёга стоял спиной ко мне. Я поднял мяч и отдал судье.

В раздевалке Серёга долго развязывал шнурок, затянул узел на мокром конце, выругался, дёрнул ещё сильнее. Я сел рядом, протянул руку:

— Дай.

Он поставил ногу боком. Я подцепил узел ногтем.

— Ты зачем так поздно отдал? — спросил он.

— Поздно, да.

— Мне деваться некуда было.

Я вытащил конец шнурка и убрал руки. Хотелось сказать: ты же сам просил. Но он уже снимал кроссовок, и я стал снимать свой.

Я вспомнил, как у гаражей объяснял, что мне надоело тренироваться, а потом в зале — что еле отвязался от тех ребят. Оба раза говорил уверенно. Мне кивали, и я сразу чувствовал себя лучше.

Я хотел выиграть эту игру. Видел свободного справа. Отдал Серёге, потому что он потребовал. Теперь соглашался, что виноват, и уже придумывал, чем его развеселить.

Мне впервые захотелось хотя бы на несколько минут остаться одному, чтобы успеть понять, чего хочу, прежде чем мне что-то скажут.

Тренер вошёл, когда почти все переоделись, и встал у двери.

— Ну что, съездили за медалями?

Мы молчали.

— Побеждает тот, кто тренируется и голоден до победы. А вы в своих фантазиях уже чемпионы. Особенно некоторые.

Он посмотрел на Серёгу, потом на меня. Я наклонился к сумке.

— Завтра в обычное время. На броски наляжем.

Я обрадовался, что он сказал, что делать: бросать я умел. Можно было приходить ещё раньше, оставаться дольше, просить, чтобы подбирали и возвращали мяч. Я представил, как через месяц буду класть трёхочковые один за другим. И сразу стало легче.

В автобусе Серёга снова придержал мне место. На сиденье лежала его сумка; он убрал её, когда увидел меня в проходе. Я сел и достал оставшиеся бутерброды. Хлеб по краям подсох.

— Дашь? — спросил он.

Я раскрыл пакет пошире. Про последний мяч мы больше не говорили.

На следующей тренировке я остался после всех. Серёга тоже остался: подбирал мои мячи и возвращал мне за дугу. Под конец мяч всё чаще бился в передний край кольца. Серёга сказал, что хватит, у него автобус. Я попросил ещё несколько бросков. Он остался.

Дома мама встретила меня в коридоре с мокрой тряпкой.

— Глеб. Ну мы же договорились.

Я посмотрел вверх. На свежеевыкрашенной притолоке отпечатались четыре пальца.

Пришлось принести табурет, вытереть, потом вытереть пол, на который накапал. Мама заглянула из кухни, потрогала краску, сказала, что сойдёт.

У меня тогда уже появилась гитара. Отец одного приятеля преподавал в академии искусств, как-то показал нам аккорды, и я пристал к нему: а вот это как, а вот здесь что за перебор? Он дал мне ноты, я стал разбирать всё подряд, до последней строчки.

Я убрал табурет, сел на кровать и взял гитару, стоявшую рядом у стены. Пальцы после тренировок были негнущиеся, басовая струна дребезжала. Я переставил руку и взял аккорд ещё раз. Из кухни доносился звук телевизора, мама негромко звякала посудой. Я доиграл до конца и начал сначала.

Тренер был прав в одном: тренироваться я умел.

Про полёт я в те годы почти не вспоминал.

6. Валерьевич

С Валерой у нас была тихая война, и я не сразу понял, за что мы воюем.

Он был неплохой мужик. Он не пил лишнего, он приносил деньги, он чинил всё, что ломалось, — а один раз всю ночь вёз меня из загородного дома к врачу, когда я разбил бровь. Он ни разу в жизни не поднял на меня руку и ни разу не сказал «ты мне не сын». И при этом я его выносить не мог.

Валера ходил в тапках, чинил кран и тем самым каждый день сообщал мне: назад не отыграется. Место, которое он занял, перестало быть памятником.

Через год после появления Валеры родилась Ксюша.

К ней у меня претензий не было никогда. Просто сестра — младше меня на шесть лет, своя, домашняя, из тех детей, которые сами себя занимают. Комнату мы делили, пока я не подрос, и делили мирно.

Она в этом доме была единственным человеком, который ничем не был занят, кроме собственной жизни.

Из того времени я особенно хорошо помню свою медицинскую карту.

Толстая, в мягкой синей обложке с загнутыми углами; раньше их можно было забирать домой, когда ходили в поликлинику. В светлом поле на обложке была графа для фамилии, имени и отчества, заполненная от руки чернилами.

Вся строка была аккуратно заклеена белой полоской бумаги, вырезанной точно по размеру, и на ней другим почерком было написано: «Северцев Глеб Валерьевич».

Мне было девять, и я, конечно, её отклеил. Не назло — просто уголок топорщился и было интересно.

Под полоской стояло: «Руднев Глеб Глебович».

Я пришёл на кухню и спросил: мам, а почему тут другое?

Она мыла посуду и не обернулась.

— Иди мой руки.

Полоску я потом подклеивал раза три. Она отходила от влажности, я находил клей и приклеивал обратно — ровно, чтобы не было видно, — и каждый раз, отгибая её, читал, что под ней. Но больше не спрашивал.

Про усыновление я узнал только в двадцать восемь. Оформлял документы на квартиру, нотариус посмотрела в бумаги и сказала между делом: «А, у вас усыновление».

Я в тот же вечер позвонил маме. Она сказала: «Ну да. Тебе шесть было. Я уже носила Валерину фамилию. Тогда и тебе поменяли фамилию и отчество». И перевела разговор на то, что надо забрать у неё варенье.

В девять я обнаружил, что раньше был записан иначе. Почему меня переписали, мне никто тогда не объяснил. Я только подклеивал полоску.

Вот так у нас в семье и устроено сообщение важного. Никто не врёт. Просто заклеивают ровно по размеру, отвечают «иди мой руки» и ждут, пока ты спросишь второй раз.

Про полоску я второй раз так и не спросил.

Имя у меня в итоге сложилось из двух мужчин, ни одного из которых я не выбирал: Глеб — от того, кого я никогда не видел и двадцать семь лет считал предателем; Северцев и Валерьевич — от того, кто был рядом каждый день и которого я не выносил.

С Валерой прорвалось, когда мне было шестнадцать. К нам пришли какие-то его знакомые, сидели на кухне, разговаривали. Я делал уроки в комнате и слышал всё через стенку — квартира была такая, что слышно было даже, как открывают холодильник.

Кто-то из гостей спросил про меня. Валера сказал:

— Растёт. Здоровый лоб уже.

— В отца пошёл? — спросил гость. — Он ведь военным был?

И Валера, я думаю, без всякого умысла, просто чтобы поддержать разговор, сказал:

— Да чёрт его знает, в кого он. Там история была мутная.

Вот и всё. Три слова. «История была мутная». Я вышел из комнаты.

Я не помню, что именно я ему сказал. Мама потом говорила, что я стоял в дверях кухни и очень спокойным голосом сообщил ему, что он в этой квартире никто, что он занял чужое место, что он даже гвоздь забить как следует не может, — и что-то ещё, довольно грязное, про его первую семью — откуда-то я это уже знал.

Гости замолчали. Кто-то встал.

Валера смотрел на меня достаточно долго, чтобы кто-то из гостей успел кашлянуть. Потом сказал:

— Ясно.

И вышел на балкон.

Мама вывела меня в коридор, взяла за плечо очень крепко — у неё были сильные руки — и сказала:

— Извинись.

Я сказал: нет. Она сказала: Глеб. Я сказал: нет.

Она отпустила плечо и ушла на кухню, к гостям, и оттуда ещё час доносились голоса, а я лежал у себя и слушал, как они делают вид, что ничего не было.

Я не извинился. Ни в тот вечер, ни через неделю, ни через двадцать лет. Валеры уже нет, так что теперь и не перед кем.

Был, правда, один разговор, которому я не дал состояться.

Года через два, незадолго до того, как я уехал поступать, он пришёл с работы, сел на кухне и позвал меня. Не пьяный — выпивший, ровно настолько, чтобы решиться.

— Глеб. Ты про мать зря так думаешь.

Я сказал: я про мать вообще ничего не думаю.

— Думаешь. Я же вижу. Ты с ней — как с виноватой.

И продолжил:

— Она мне один раз рассказала...

На этих словах я встал и вышел из кухни — без хлопанья дверьми и без хамства, просто он остался сидеть один. Больше он к этому разговору не возвращался никогда.

Я потом долго убеждал себя в том, что всего лишь не желал слушать пьяные откровения отчима. На самом деле я не стал слушать потому, что ответ у меня уже был и любой новый факт был для этого ответа угрозой, а не подмогой.

До моего отъезда мы жили под одной крышей, вежливо. Он говорил «доброе утро», я говорил «доброе утро»; он спрашивал, не надо ли отвезти, я говорил, что не надо. Всё.

7. Полёт. Два

Один раз это накрыло меня в спортзале.

Мы отрабатывали подборы, парами, у щита. Один бросал мяч в щит, второй выпрыгивал за отскоком и ловил его как можно выше. Потом менялись — на каждого приходилось двести прыжков в несколько подходов. К концу ты уже не думаешь, ты просто механизм — толчок, зависание, падение; толчок, зависание, падение.

И вот на каком-то по счёту прыжке я завис. У всех бывает это ощущение в верхней точке: доли секунды, когда ты уже не летишь вверх, но ещё не полетел вниз, — как раз в такое мгновение спортзал вокруг меня погас. Я висел головой вниз, и подо мной была серая муть.

Скалы шли по бокам, обшарпанные, тёмные, с бегущими вверх полосами снега в расщелинах. Ветер бил в макушку. Баскетбольный щит торчал из скалы; я пронёсся мимо, и кольцо с обрывками сетки ушло вверх. Слева, приколоченное к скале, висело солнце, и от него шло тепло, а всё остальное было ледяное.

И я увидел, что летим мы все.

Не только я. Вон Серёга Комков, он рядом, он тоже прыгал; он летит боком, растопырившись, и что-то кричит, но куда-то вбок, мимо меня. Вон тренер — этот летит очень собранно, ногами вниз, как будто он тут главный и ему полагается лучшее положение. Вон мама — она далеко в стороне, за целую пропасть от меня, и я вижу только пятно её плаща. Вон дед, но дед уже сильно ниже, он давно летит, он почти в мути.

И все они, все до одного, ведут себя так, будто стоят на полу.

Мне стало тоскливо. Такая специальная тоска, которая бывает, когда понимаешь, что помочь никому нельзя, потому что помощь тут не предусмотрена конструкцией.

Внизу, в мути, коротко полыхнуло, потом ещё раз — левее. Беззвучно, будто где-то далеко фотографируют.

А потом кто-то снизу пустил вверх записку.

Я успел её прочитать, пока она пролетала мимо. Она была написана карандашом, крупно, и там было сказано, что дно ближе, чем кажется, и что дальше по курсу будет выступ, и чтобы держались правее. Я хотел передать её наверх и даже руку протянул.

И в этот момент я приземлился на паркет, тренер заорал: «Северцев, ноги! Ноги согни, ты не бревно!» — и всё встало на ноги. Снова пахло мастикой, мокрая майка липла к спине. Я отработал ещё сто прыжков и вечером про всё это даже не вспомнил.

Но записку я запомнил дословно. До сих пор не знаю, кто её написал и кому хотел передать.

8. Троллейбус номер шесть

С тренировки я возвращался на шестом троллейбусе. Зимой окна замерзали изнутри мохнатым инеем; в протаянные кем-то дырки были видны оранжевые фонари и косой снег. Пахло мокрой шерстью. До дома можно было успеть поспать, но в ту пятницу я даже перчатки забыл снять.

Во внутреннем кармане лежали два билета в кино на завтра.

Я купил их по дороге в зал. Кассирша спросила, какие места, и я выбрал в середине, рядом. Она оторвала два прямоугольника от толстой пачки, протолкнула под стеклом. Пока я убирал их в карман, она уже продавала следующие. Для неё это была обычная работа.

Мне предстояло позвать Настю из параллельного класса. По пятницам она возвращалась с французского примерно в то же время, что я с тренировки. Мы несколько раз ехали вместе. Она рассказывала, как у них на занятиях заставляют говорить, даже когда ты не знаешь ни одного подходящего слова, и изображала преподавательницу. Я смеялся. Потом дома прокручивал про себя то, что надо было ей ответить.

Перед этой поездкой я всё придумал заранее: сначала спрошу про французский, потом скажу, что завтра свободен. Билеты сразу доставать не буду.

Один шестой я пропустил. Он подошёл почти пустой, водитель открыл передо мной дверь, а я сделал вид, что жду кого-то, и отступил. Настя появилась, когда я уже перестал чувствовать пальцы в кроссовках.

— Привет. Ты давно ждёшь?

— Только подошёл.

Мы влезли в следующий троллейбус. У заднего окна оказалось два места. Я пропустил её вперёд, устроился рядом и положил спортивную сумку на колени.

— У тебя что, матч был?

— Тренировка.

— А чего ты такой?

Я посмотрел на неё.

— Красный весь.

— В зале жарко.

Она стала разматывать шарф. К концам прилип снег; пока она разговаривала, он таял и с шерсти капало на куртку. Я хотел снять перчатки, но для этого надо было поднять сумку и задеть Настю локтем, и я оставил всё как есть.

Она рассказывала про открытку. Преподавательнице прислали из-за границы открытку с мостом, и сегодня они всей группой разбирали, что там написано. На картинке набережная была почти пустая, у воды стоял стул. Настя никак не могла понять, чей он и почему его не уносят.

— Я бы там села, — сказала она. — Просто сидела бы и всё.

Я сказал, что стул, наверное, от кафе. Вышло довольно глупо: она и без меня знала, откуда берутся стулья.

Троллейбус дёрнулся, сумка поехала с колен. Настя придержала её.

— Поставь вниз, так же удобней.

Я спустил сумку и снял наконец перчатки. Во рту почему-то было сухо.

До её остановки оставалось ещё ехать и ехать. Я знал весь маршрут наперёд: где долго держит светофор, где водитель иногда стоит лишнее, где начинается поворот. Обычно эти паузы меня раздражали. Сейчас я смотрел вперёд и хотел, чтобы загорелся красный.

— Слушай, — сказал я. — У меня два билета на завтра. Пойдём?

Она перестала теревить мокрый конец шарфа.

— В кино?

Я кивнул и полез в карман, хотя собирался достать позже.

— Здорово. Во сколько?

Я показал. Она наклонилась, прочитала название, провела ногтем по краю билета.

— А Ольку с нами можно? Мы с ней собирались завтра встретиться. Я ей скажу, пусть ещё билет купит.

Всё это было сказано очень просто. Я держал два билета и смотрел, как они слегка расходятся у меня в пальцах.

В моём кино Ольки не было. Там вообще никого из школы не было. Мы выходили после сеанса и шли вместе к остановке; Настя что-то говорила, я отвечал. Я уже знал, с какой стороны от неё буду идти, чтобы машины не обдавали грязью.

— Ты её знаешь, — сказала Настя. — Мы вместе на французский ходим.

— Знаю.

— Ну так что?

Можно было сказать: я хотел только с тобой. Я даже вдохнул, чтобы сказать это, и почувствовал, как куртка стянула грудь.

— Да я сам, наверное, не смогу, — сказал я.

Она подняла глаза.

— Ты же только что меня позвал...

— У нас завтра ещё тренировка. Сегодня сказали. Я забыл просто.

Настя помолчала. За окном горел красный, которого я так хотел. Люди стали проходить к дверям, кто-то задел мою сумку ногой, и я убрал её под сиденье.

— Ну сдай тогда, — сказала она. — Тебе деньги вернут.

— Зачем? Сходите с Олькой.

— Глеб, ты что? Может, ещё успеешь.

— Нет, там долго.

Она всё ещё не брала, и я сунул билеты ей в руку.

— Идите. Всё равно уже купил.

— Я тебе потом отдам.

— Да ладно.

Я улыбнулся. Надо было ещё что-нибудь сказать, чтобы она тоже улыбнулась и мы перестали сидеть вот так. Я спросил про фильм: видела ли она рекламу. Настя сказала, что да, вроде смешной. Я ответил: тогда хорошо.

Она убрала билеты в сумку и достала перчатки. Я спросил про французский — тот самый вопрос, с которого собирался начать.

— Я же тебе рассказала, — мягко напомнила она.

— А, да. Про открытку.

Больше придумать ничего не удалось. Настя подышала на стекло, протёрла его рукавом и стала смотреть, где мы едем. Я тоже смотрел в эту дырку. Был виден край магазина, потом фонарь, потом несколько пустых метров стены.

На своей остановке она поднялась. Я встал, выпустил её к проходу.

— Спасибо тебе, — сказала она. — Я в понедельник принесу деньги.

— Не надо. Серьёзно.

— Ну я же не могу просто так.

— Всё нормально.

Она задержалась, будто ещё что-то хотела спросить, но сзади уже стоял мужчина с пакетом, а за ним ещё один человек. Я посторонился, чтобы все могли пройти. Настя вышла, и я сел обратно.

Троллейбус дёрнулся. За стеклом поплыли вверх фонари; холод прошёл от макушки вдоль спины, я втянул голову в плечи и поднял воротник.

«Надо было с самого начала ни на что не рассчитывать. В мире могло произойти что угодно, а я вдруг решил, что сумею к этому подготовиться. Если заранее ничего не ждать, обижаться будет не на что. В упорядоченном мире выживет любой дурак. Мне надо научиться жить в хаосе. Если научусь, уже ничего не будет страшно». Я несколько раз повторил это про себя. Получалось вполне складно. И меня немного отпустило.

Я помню это ощущение физически: как будто в голове передвинули шкаф, и открылась дверь, о которой я не знал.

До дома оставалось ещё прилично ехать. Я придумывал, что отвечу Насте в понедельник на перемене, когда она спросит, как прошла тренировка. Выбирал случай посмешнее, чтобы она не спешила уходить.

9. Буклет

В школе я с удовольствием ходил на алгебру, геометрию и химию. Когда корень из дискриминанта получался целым, день уже считался удачным. На остальных уроках чаще поглядывал на часы.

Ещё в девятом классе я взял учебники по геометрии за десятый и одиннадцатый и за лето прошёл оба — целиком. Сам. Я влипал в эти системы из точек, формул и линий: садился разобирать одну задачу, потом замечал следующую. Проводил на чертеже дополнительную линию, — и то, над чем раньше сидел, быстро сходилось. Мог перевернуть страницу и продолжать решать. Когда поднимал голову, уже было пора на тренировку.

Всё остальное время занимал баскетбол: я играл за школьную команду, городскую и областную. Тренировки, игры, выезды — почти без перерыва.

В одиннадцатом классе мы с мамой поехали в Политех.

Там выдавали книжечку со всеми специальностями — толстую, на плохой бумаге, с фотографиями лабораторий, где стояли люди в халатах и делали вид, что заняты. Мы сели с этой книжечкой на кухне, и я стал вычёркивать.

Экономические — вычеркнул сразу. Всякие «сервис и туризм» — вычеркнул. Чистая математика — вычеркнул, хотя математику любил, — мне не нравилось, что там всё уже правильно и нечего чинить.

Мама посмотрела на этот вычерк и сказала:

— У меня в буклете то же самое было. Только я вычёркивала то, где надо разговаривать с людьми.

И ушла ставить чайник. Больше она за весь вечер не сказала ни слова — ни про баллы, ни про то, где лучше платят или где больше перспектив.

Осталось инженерное, и там было два направления.

Первое — «Электронно-вычислительные машины, комплексы и сети». Туда шли те, кто интересовался, как информация ходит между машинами и людьми: линии, узлы, протоколы, потоки. Проходной балл был высокий.

Второе — «Информационно-измерительная техника». Это про железо: как построить датчик, локатор, как поймать физическую величину и превратить её в цифру. Проходной пониже.

Физику я сдал так себе, а математику — хорошо, потому что просто знал её. Это был первый год, когда у нас вводили единый экзамен, и я в него угодил. Восемьдесят шесть из ста. Написал я минут за сорок вместо двух с лишним часов; Сева Пахомов тоже быстро сдал, и мы с ним вышли и отправились в кино, пока остальные дописывали.

В общем, поступил я на технику с приборами. И был ещё один плюс, о котором говорить неудобно, но из песни слов не выкинешь: за меня платило государство. Отец погиб — значит, учись бесплатно. Это было приятно и одновременно как-то скверно на вкус: будто получаешь сдачу с того, чего у тебя не было.

Через год я перевёлся туда, куда хотел с самого начала.

Высшую математику у нас вела завкафедрой, женщина, которую боялись все. Она нас, что называется, обрабатывала без смазки. Я брал задачи со звёздочкой и сдавал на отлично. Мне нравилось с ними возиться.

А вот электроника мне не давалась и не нравилась. У нас её вёл человек, который мог заснуть на паре. Один раз он пришёл с опозданием на двадцать минут, с гитарой и весь в еловых иголках, потому что ночевал в лесу за общежитием. Своеобразный был мужик. Я до сих пор не знаю, кто из нас двоих был не увлечён — он или я.

Зато у нас с однокурсниками сложился отличный симбиоз. Всё, что касалось схем, потоков, логики, — делал я. Всё, что касалось паяльника, микросхем и осциллографа, — делали они. И никто никому не был должен, потому что все были должны всем, а это, как я уже говорил, очень крепкая конструкция.

У нас был предмет, где нам полгода читали, как правильно организовывать работу коллектива. Я знал этот учебник наизусть. Потом я стал руководителем и обнаружил, что в нём не было ни одной работающей строчки. Вся эта теория лежала в голове красивая и мёртвая — как бабочка на булавке — и в нужный момент не взлетела.

10. Большая Гавань

Три лета подряд я ездил за океан.

Там, в Большой Гавани, жил мамин брат — у него была своя транспортная контора, три машины и вечно простуженный голос. А двоюродный брат работал аудитором в большой международной организации и мотался по всему свету; он приезжал на выходные, привозил сыр, и от него пахло аэропортами.

Первое лето я жил в дальнем районе, в квартире над прачечной. Второе — на острове, откуда до города было сорок минут на пароме. Третье — уже в разных местах большого города.

Работал я кем попало: помощником официанта, грузчиком, разносчиком; один раз три дня мыл витрины. Мне всё нравилось. Мне было дико интересно, как всё вокруг устроено: почему тарелки уносят именно так, почему коробки на складе стоят именно в таком порядке, почему у одного бармена очередь, а у другого нет.

Помощник официанта — это, между прочим, лучшая школа, какую я знаю. Ты никто. Тебя не видят. Ты стоишь у стены и должен по едва заметным признакам понимать, где сейчас будешь нужен: у кого кончилась вода, кто уже доел, но не хочет говорить; у кого через минуту упадёт вилка. Ты весь состоишь из внимания.

Один раз за столиком у окна сидели двое, и я по спине женщины понял, что сейчас будет плохо: спина стала очень прямой — такой, какая делалась у мамы, когда в гостях неудачно шутили. Я принёс воду, которую никто не просил, и постоял дольше, чем надо, переставляя приборы. Она успела выдохнуть. Дальше у них пошёл обычный разговор.

Домой я в тот вечер шёл довольный.

У нас в смене был парень из Загорья — здоровенный, — который со всеми разговаривал одинаково: с шефом, с посудомойкой, с посетителем, с полицейским. Одинаково громко и одинаково по-свойски — он считал это честностью. Его уволили через месяц, и он вряд ли догадался, что его сгубило простое непонимание ситуации.

Третье лето я запомнил лучше всего. Денег у меня с собой было мало, я нашёл на улице матрас, притащил его домой, свернул джинсы под голову, накрылся курткой и так спал. Ел самые дешёвые макароны с сосиской: несколько дней подряд — одно и то же.

Но был я при этом совершенно счастлив.

Я тогда узнал, что могу спать на матрасе с улицы и не считать это трагедией.

С третьего лета я вернулся поздно — на неделю позже, чем надо. И меня отчислили с пятого курса.

11. Полёт. Три

В Большой Гавани полёт замечен лучше, чем где бы то ни было, — потому что там дома высокие.

В один из приездов я в первый же вечер вышел на перекрёсток и посмотрел вверх. Стены уходили в небо и сходились, образуя ущелье. По ним снизу вверх бежали окна — много, тысячами.

Я перестал чувствовать асфальт под ногами. Ветер ударил в макушку, пригладил волосы на затылке и прошёл по спине к ногам. Куртка натянулась на плечах. Я попытался шагнуть и только дёрнул ногой в пустоте.

Я падал головой вниз. Окна поднимались мимо лица, уходили за плечи, к ботинкам. Подо мной стояла серая муть.

Небо оставалось узкой полосой далеко над ногами. Солнце висело сбоку, приколоченное к стене, как всегда; косое, оранжевое. От него шло тепло, а всё остальное было каменное и холодное.

А рядом падали люди, перебирая ногами, будто продолжали идти по улице.

Их было очень много. Тысячи, десятки тысяч, все с лицами, у каждого своё выражение, и все двигались в одну сторону — быстро, деловито, глядя исключительно перед собой. Никто не смотрел вниз. Здесь этого не делали вообще: это считалось признаком приезжего.

Один тащил огромную коробку обеими руками, прижав к груди. Ему было тяжело, и он не видел из-за неё, куда летит. Я подумал: интересно, что там, а потом опомнился: да неважно что. Всё равно она долетит вместе с ним и разобьётся вместе с ним, и всё, что в ней, разлетится по камням.

Другой разговаривал сам с собой, и по лицу его было видно, что он вот прямо сейчас кому-то что-то доказывает — и выигрывает.

Двое держались за руки и падали одинаково, ровно, плечо к плечу. На них было приятно смотреть, и я им завидовал. И всё думал: надолго ли?

А внизу, в мути между домами, где мигали фары и стоял пар из люков, время от времени коротко вспыхивало.

Меня толкнули в плечо. Я качнулся, выставил ногу — и подошва стукнула об асфальт. Снова загудели машины. Передо мной горел красный. Рядом стояли люди.

Мне тогда был двадцать один, я стоял на чужом перекрёстке в куртке, купленной на распродаже, у меня в кармане было сорок люменов, и я подумал: господи, какая же красивая штука этот город. Как хорошо, что все они не смотрят вниз, — иначе никто ничего бы не построил.

И тут же пришла вторая мысль, от которой мне стало неудобно: а что построю я, если буду смотреть?

Потом загорелся зелёный, толпа тронулась и понесла меня. И я пошёл на смену, где надо было к шести переставить пятьдесят стульев.

12. Дыра в полу

Работать я начал с девятого класса.

Сначала грузчиком — на овощной базе, куда меня взяли по знакомству бабушки Зои, что само по себе было довольно смешно: бабушка эту базу когда-то держала в кулаке. Потом — кассиром в сетевом магазине. У меня была хорошая память, и это оказалось валютой: когда надо вернуть товар или вспомнить артикул, все идут спрашивать, а я уже знаю. Благодаря такой скорости и, возможно, вежливости, я выиграл фотоаппарат как лучший кассир по итогам новогодней распродажи.

Каждый кассир отвечал за свой участок номенклатуры; мне достались стиральный порошок, мыло и всякая женская мелочь, так что этот раздел человеческой цивилизации я до сих пор знаю неприлично хорошо.

Потом получил права. Первая машина стоила двенадцать тысяч люменов и имела в полу дыру, сквозь которую было видно дорогу. Я выгреб из неё три ведра непонятного, застелил пол резиновым ковриком и стал таксовать по вечерам.

И вот с этой машиной у меня однажды вышла история.

Я тогда встречался с девушкой по имени Виолетта — красивой, из хорошей семьи, с планами. И вот я подъезжаю за ней на своей машине с дырой, останавливаюсь, открываю дверь. Она смотрит на машину, потом на меня, потом опять на машину.

И не садится.

Не то чтобы она устроила скандал — нет, она очень вежливо объяснила, что ей будет неудобно; что тут ехать-то две остановки; что она лучше пешком. Я услышал то, что было под словами.

Мы расстались в тот же вечер.

Мне потом много раз говорили, что я поступил жестоко и вообще с жиру бесился. Может быть. Я в девятнадцать лет решил: человек, который не может сесть в твою плохую машину, не впряжётся с тобой и в плохой год. А плохих лет в жизни хватает. Я даже не спросил, что именно её смутило.

Знакомиться, кстати, я умел плохо и до сих пор умею плохо; соблазнять я вообще не умею и не понимаю, зачем.

Разговаривать с девушками мне при этом нравилось — про учёбу, работу, про то, куда они хотят уехать и чем собираются заниматься. Я расспрашивал, потому что мне было интересно. Иногда так проходил весь вечер.

А потом выяснялось, что она уже считает, будто мы встречаемся.

— Мы же просто разговаривали, — говорил я.

Одна из них переспросила: «Просто?» — и замолчала. Я продолжал объяснять, но лучше от этого не становилось.

Я попадал в такое несколько раз и в какой-то момент стал держаться холоднее, чтобы не давать ложных надежд. Отвечал короче, меньше расспрашивал, хотя спросить хотелось. Я не хотел, чтобы девушка привязывалась ко мне, ждала продолжения, а потом узнавала, что я вообще не собирался заводить роман. Я видел, как это ранит, и старался больше не причинять такой боли.

А когда я сам начинал встречаться с девушкой, часто повторялось другое: недели через три мне становилось скучно, я говорил: всё, не будем больше, и шёл играть в компьютерные игры.

Одна из них — Женя — решила эту ситуацию не оставлять. Пришла ко мне домой. С цветами. Звонок в дверь, сестра заходит в комнату: там Женя, хочет тебя видеть. Я говорю: скажи, что не выйду.

Не вышел.

Мама к ней вышла. Успокаивала её в подъезде, потом вернулась, положила передо мной эти цветы и сказала: «Интересный ты человек, Глеб. Не сказать, что хороший; не сказать, что плохой. Интересный».

Я тогда посчитал это комплиментом.

13. Диплом за три недели

Вернулся я из-за океана поздно, и мне сказали: отчислен.

Я пошёл восстанавливаться. Мне сказали: нет. Я пошёл ещё раз. В итоге восстановился на тот же пятый курс, но заочно, что по факту означало то же самое, только бумажки другие. И началась зима, в которую я не делал ни-че-го.

То есть как ничего — я работал у мамы в цехе: помогал с бланками и печатью; таксовал, встречался с девушкой из Каменногорска, ездил к ней и обратно — шестьсот километров туда-сюда. А диплом не писал вообще — даже не выбрал тему.

В январе мама спросила: «Ну как диплом?» Я сказал: «Нормально». Она сказала: «Покажи».

Показывать было нечего.

Она посмотрела на меня очень спокойно и сказала: «Значит так. Либо ты сдаёшь диплом, либо собираешь вещи».

Я думаю, она бы не выгнала, но я в этом до сих пор не уверен, и, наверное, в этом и был весь фокус.

Я сел и за три недели написал систему учёта и раскроя для её цеха — настоящую, рабочую, которая потом года четыре считала ей заказы. Тема была нормальная, потому что я знал этот цех до последнего винта: я знал, где узкое место, знал, почему мастер врёт в отчёте, знал, что на самом деле теряется на переналадке.

Когда я показал первый вариант, он был красивый и огромный. Там был модуль прогнозирования спроса, конструктор отчётов, ролевая модель на девять ролей — при том что в цехе работало пять человек и ролей у них было только две: мама и все остальные.

Мама посмотрела и сказала: «Мне надо знать, сколько плёнки осталось».

Я строил космолёт для поездки в булочную. Строить космолёт было интересно, а ходить в булочную скучно.

Я выкинул восемьдесят процентов и сдал диплом в феврале, раньше всех, на отлично.

А потом сделал из этого цеха бизнес. Купил ещё один станок, добавил цветную печать, набрал номенклатуру, нашёл клиентов; года полтора это работало и приносило деньги. Мне было двадцать два, я был владельцем печатного производства в Кряжинске, и я скучал.

Потому что печать — это не моё. Мне нравилось разбираться, как оно устроено. Когда разобрался, оставалось повторять одно и то же, и интерес кончился.

И тогда я решил уехать. Раз я уже трижды был за океаном, раз там родня — поеду, доучусь и буду работать там.

Подал документы и, пока ждал, от скуки разослал резюме по местным конторам.

Одна откликнулась.

Это была «Норд-Линк», местный филиал заморской конторы, которая занималась разработкой программного обеспечения — то есть ровно тем, что я хотел. В понедельник у меня было консульство, во вторник — собеседование на работу. Я твёрдо решил: дадут визу — на собеседование не пойду.

Визу не дали. Сказали: вы недавно закончили университет, у вас ничего нет, вы не вернётесь. Я вышел из консульства и понял, что мне почему-то легко.

Во вторник я поехал на собеседование.

14. Никита и запрещённые книжки

В «Норд-Линке» я попал к Никите.

Он сидел у окна, в стороне от прохода. На столе стояла кружка с отбитой ручкой; Никита обычно держал её двумя пальцами за верх и вспоминал про чай, когда тот уже остыл. В шесть он выключал ноутбук и уходил за сыном в садик. Остальные ещё сидели, и кто-нибудь обязательно смотрел на часы.

Я тоже смотрел. Мне тогда казалось, что в новой конторе надо как можно дольше оставаться на виду.

После собеседования я несколько дней ходил с пропуском на шее, причём даже в столовую, где он был совершенно не нужен. На пропуске были моя фотография и название заморской конторы. Дома я оставлял его рядом с ключами, чтобы утром ни за что не забыть.

Мы делали программу, через которую магазины заказывали товар со склада. Мне достался кусок между ними: магазин нажимал кнопку, на складе должен был появиться заказ. Я быстро разобрался и попросил ещё работы.

Никита как-то задержался возле моего стола: посмотрел, что я пишу, спросил про одно место. Я начал объяснять, на середине запутался. Он подождал. Я открыл соседний файл, потом ещё один.

— Здесь повторно отправляется, — сказал я наконец. — Если ответа нет.

— Ага.

Он пошёл к себе. Мне захотелось догнать его и спросить, нормально ли я сделал. Вместо этого я ещё раз перечитал весь кусок.

На следующий день Никита вытащил из рюкзака книжку и положил мне на колени, под столом.

— Почитай. Только не при всех.

— А что там?

— У нас про неё уже спорили. До чтения так и не дошли.

Из книжки торчала закладка. Я раскрыл: на странице была подчёркнута карандашом строчка про то, что качество нельзя приделать в конце. Никита вообще любил подчёркивать: одну линию проводил ровно, под линейку; если считал дело серьёзным — добавлял вторую.

Я убрал книжку в сумку. Было приятно, что он дал её именно мне и что теперь у нас есть что-то, о чём остальные не знают.

Утром мы собирались возле большого экрана и отмечали, что сделано. План был распisan далеко вперёд, общая проверка стояла ближе к концу. Мой кусок работал: я отправлял заказ, открывал второй компьютер и видел там те же коробки с товаром. Руководитель спросил, готово ли. Я сказал: готово. Он поставил отметку и перешёл к следующей строке.

В пятницу предстоял показ заказчику, и меня попросили показать мою часть. Я заранее прогнал всё несколько раз, подобрал заказ покрасивее, чтобы на экране было побольше заполненных строчек. Представлял, как буду объяснять. В конце непременно спросят, кто это делал.

По вечерам я читал Никитину книжку. Сначала искал в ней ответ про ту повторную отправку, потом увлёкся и ушёл далеко вперёд. В четверг всё-таки вернулся к своему куску: хотелось разобраться до показа, чтобы ответить, если спросят.

Я позвал Никиту и отправил заказ, а пока программа ждала ответа, он выдернул сетевой провод. Потом вставил обратно. Связь восстановилась, программа дослала то, что считала неотправленным.

На втором компьютере появились два одинаковых заказа.

— Подожди, — сказал я. — Я, наверное, два раза нажал.

Начали сначала. Никита стоял рядом, смотрел на мои руки. Я нажал один раз. Снова получилось два заказа.

Я смотрел на строки, потом на Никиту. Хотелось, чтобы он сейчас показал какую-нибудь очевидную глупость. Я бы посмеялся, исправил, и можно было бы идти обедать.

Он сел на соседний стул, придвинул клавиатуру.

— Склад первый заказ уже получил, — сказал он. — А твоя программа об этом не узнала.

Он открыл записи на втором компьютере, где было видно, когда заказ приняли и когда приняли его ещё раз. Я сверил время. Потом зачем-то сверил снова.

— То есть они два раза отгрузят? — спросил я.

Никита кивнул.

Я первым делом подумал, что на показе никто не станет выдёргивать провод.

Мимо прошёл руководитель, остановился возле нас.

— На завтра всё нормально?

— Да, — сказал я. — Тут ещё смотрим.

Он попросил прислать картинку для презентации и пошёл дальше. Никита подождал, пока тот скроется за перегородкой.

— Ты ему скажешь?

— Сейчас поправлю.

— А если не успеешь?

— Ну я же не могу прийти и сказать, что не готово, когда уже подтвердил.

Никита посмотрел на меня. Я ждал возражения. Он поднялся, взял кружку и пошёл наливать воду.

До вечера я пробовал то одно, то другое. После одной поправки повторный заказ перестал появляться, зато теперь можно было потерять первый. Я вернул всё назад. В сумке лежала книжка; я доставал её, находил нужное место, читал и снова лез в программу.

В шесть у Никиты зазвонил телефон. Он ответил, что выходит, и начал собираться.

— Никит, ты можешь ещё посмотреть?

Он подошёл, стоя пролистал то, что я успел сделать.

— Утром давай сядем вместе. Я сейчас не успею.

— Мне бы сегодня закончить.

— Я понял, но сейчас уже не могу.

Он убрал ноутбук в рюкзак. Под столом у него стоял пакет с маленькими резиновыми сапогами; он взял и его.

Я чуть не сказал: у нас же завтра показ. Он уже шёл к выходу, на ходу застёгивая куртку. Я повернулся к экрану. На нём всё ещё была открыта переписка, в которой я написал, что готово.

Поздно вечером в офисе погас верхний свет. Охранник заглянул, спросил, долго ли я ещё. Я попросил полчаса. Он включил лампы обратно только над нашим рядом.

Я набрал письмо руководителю: написал, что обнаружена особенность при восстановлении связи. Перечитал. Из письма выходило, что ничего особенного не произошло и я просто сообщаю на всякий случай.

Стёр всё, кроме обращения.

«Раньше я написал, что передача заказов готова. Сегодня проверил, что будет при обрыве связи. Один заказ может прийти на склад дважды. Исправить пока не удалось».

Долго держал палец возле кнопки. Потом отправил и немедленно захотел вернуть письмо.

Утром руководитель позвал меня в переговорную. На экране была моя вчерашняя отметка. Он развернул к себе распечатку и некоторое время молча её читал.

— Почему это выясняется сегодня?

— Вчера.

Он посмотрел на меня.

— Почему вчера?

Я начал рассказывать, как проверял раньше, что было предусмотрено в задании и что повторную отправку уже использовали до меня. Руководитель слушал, положив руку на телефон. Сейчас ему предстояло звонить заказчику. Я понимал, что он ждёт, когда я закончу, и всё равно продолжал.

Потом остановился.

— Я раньше так не проверял, — сказал я.

— К показу успеешь?

Я посмотрел на часы. Ответ уже стоял у меня во рту.

— Не знаю.

Он убрал распечатку и попросил позвать Никиту. Я вышел с ощущением, что на этом моя работа в заморской конторе заканчивается.

Показ нашей части перенесли. Руководитель сам разговаривал с заказчиком за закрытой дверью; через стекло было видно, как он ходит с телефоном вдоль стола. Я старался на дверь не смотреть.

Никита принёс свой ноутбук к моему столу и спросил, что я успел попробовать. Я показал, в том числе вчерашнюю поправку, которую потом убрал.

Мы работали до вечера, иногда подолгу молча. Один раз Никита сказал, что, кажется, нашёл, я обрадовался, но при проверке всё снова разъехало. Он потёр лицо ладонями, отодвинул кружку и попросил вернуть предыдущий вариант. Я вернул. Мы полезли дальше.

К следующему показу всё было готово: заказ оставался один, сколько бы раз я ни выдёргивал провод. Я проверял до тех пор, пока Никита не забрал у меня мышь: ему понадобилось самому кое-что посмотреть.

На показе я путался в словах. Заказчик попросил повторить, я повторил. Потом он спросил, можно ли увидеть, что происходит при обрыве связи. Я полез под стол за проводом.

После встречи руководитель подошёл ко мне и спросил, смогу ли я так же проверить остальную передачу данных. Я сказал, что смогу, и сразу начал прикидывать, что там надо тронуть первым. Очень хотелось, чтобы он задержался и спросил ещё что-нибудь.

Никитину книжку я принёс домой. Часть подчеркнутого теперь хотелось перечитать: там были места, которые я в первый раз проскочил, потому что всё казалось понятным. На полях я написал вопрос, потом спохватился, что книга чужая. Наутро показал Никите. Он прочитал и стал отвечать прямо в коридоре, и мы оба замёрзли от открытой входной двери.

Потом были другие книжки. Я брал их с собой в дорогу, читал после работы, задерживался у Никитино стола с одним вопросом и уходил с несколькими. Иногда даже забывал спросить, что мне дадут делать дальше: хотелось сперва закончить то, в чём застрял.

Однажды я уже надел куртку, и тут сообразил, что означало место, над которым мы с Никитой спорили. Вытащил книжку, раскрыл на подоконнике. Захотелось позвонить ему и рассказать; посмотрел на часы: он сейчас, наверное, укладывает сына. Решил дождаться утра.

По дороге домой я подумал, что хочу работать по любви и жить тоже: возвращаться к тому, кого любишь, а утром браться за дело, которое тебе дорого. Я пока плохо представлял себе такую жизнь целиком, но теперь хотя бы знал, как это бывает с работой.

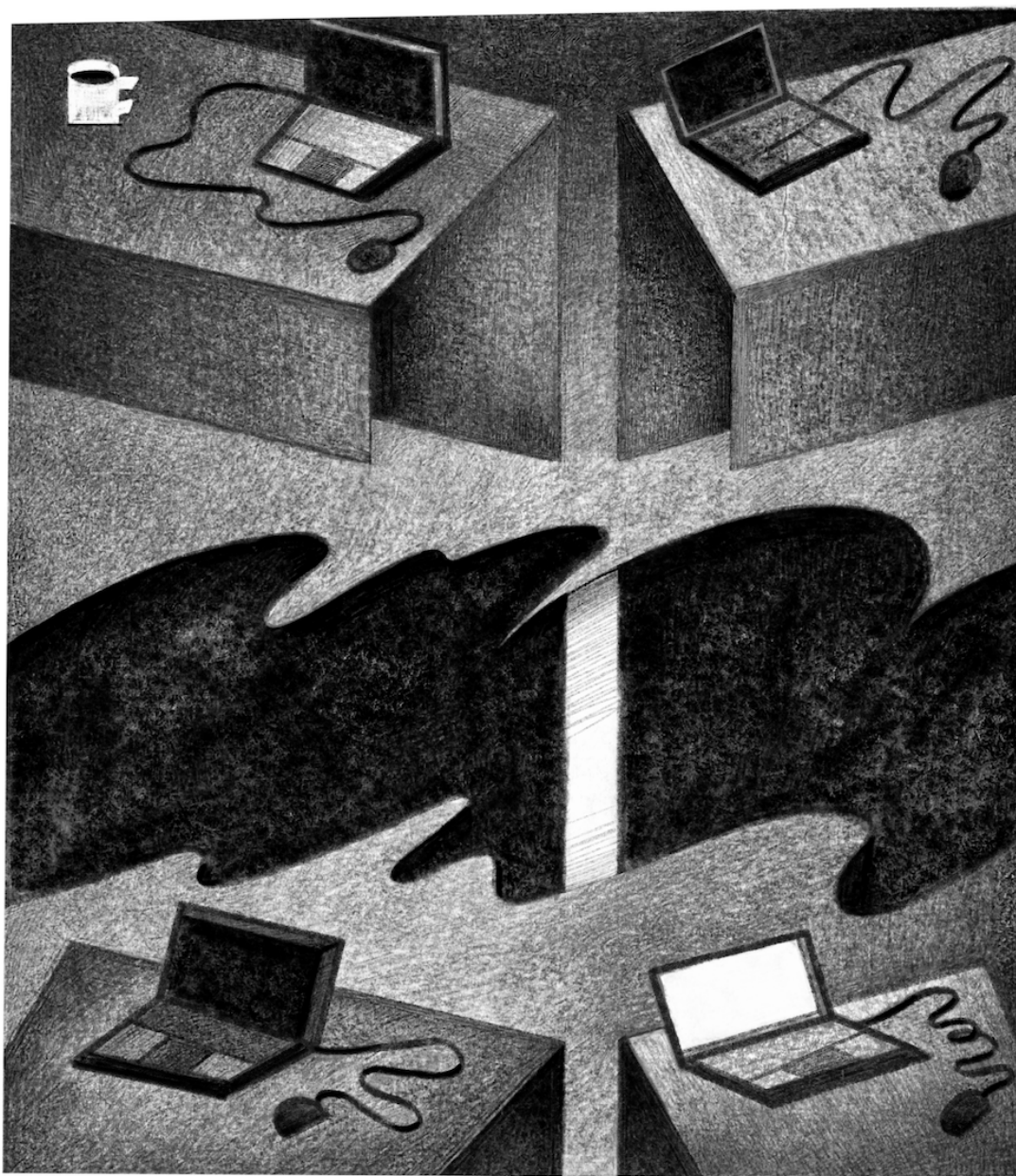
Утром я первым делом пошёл к Никите, даже не сняв куртку.

Через год я уже вёл команду. Люди подходили к моему столу, и я отодвигал клавиатуру, чтобы посмотреть, что они принесли. Тогда я всё ещё радовался каждому, кто говорил: «Глеб, выручай». Только теперь мог надолго замолчать над его задачей, и человек рядом начинал ёрзать, а я ещё не знал, что ответить.

А потом мне позвонили из другой конторы.



Часть вторая. Мудрец



15. Эдуард Львович

Позвонили в четверг и предложили приехать в пятницу к девяти. Кто-то кому-то передал, что есть парень, который в двадцать четыре тянет команду. Теперь этого парня хотели посмотреть.

Контора делала системы для государственных ведомств и занимала два этажа старого здания. Внизу охранник, не поднимая головы, спросил:

— К Эдуарду Львовичу?

Я даже ничего не успел сказать. Потом выяснилось, что таким вопросом он встречал каждого, кто приходил не в костюме.

В угловом кабинете стояли стол, два шкафа и чайник на подоконнике. Единственный стул для посетителя был у стены. Я остановился возле него.

Эдуард Львович оказался невысоким, лысоватым человеком в свитере. Он крутил ручку и смотрел на меня так внимательно, что я перестал соображать, куда деть руки.

— Глеб, а зачем вам эта работа?

Я рассказал про интересные задачи, рост и масштаб. Он кивал. Я решил, что идёт хорошо, и добавил про ответственность.

— Понятно. Теперь скажите правду.

Уши у меня стали горячими. Хотелось немедленно поправить ответ, угадать, что ему нужно. Вместо этого я почему-то разозлился.

— Хочу понять, как всё устроено. По-настоящему.

Он положил ручку.

— Садитесь.

Я придвинул стул. Через два часа вышел принятым на работу.

Через месяц освободилось место технического директора, и Эдуард Львович предложил его мне. Я уже знал общую схему, остальным хватало своих участков, но с ответом несколько дней тянул.

— А что вы столько думаете? Хотите этим заниматься?

— Хочу. Только я ещё не во всём разобрался.

— Тогда снимаете на морозе шапку, перекидываете через забор и лезете за ней, пока уши не отмёрзли.

Я согласился.

Когда тащил коробку в новый кабинет, в дверях пришлось пропустить Гену, прежнего директора. У него тоже была коробка, побольше моей.

— Это тебя вместо меня?

— Похоже.

Гена оглянулся в коридор и выдохнул.

— Он не злой... Ты не думай, он не злой. Он просто не различает, где человек, а где схема.

Я отступил, чтобы дать ему пройти. Гена проработал здесь шесть лет. Мне казалось понятным, почему он расстроен.

Среди его бумаг остался проект, который застрял между двумя департаментами. Мы строили общую систему учёта — под неё создавался новый отдел, и нужно было решить, кому он будет подчиняться. Оба департамента хотели его получить, но при этом ни один не соглашался отвечать за то, что происходило до передачи.

Старые данные переносила маленькая контора «Вектор», в которой работало двенадцать человек. Их директор, молодой парень в рубашке навыпуск, принёс мне два набора требований: один департамент велел считать так, другой — этак. Отчётность по ним получалась разная.

— Мы можем сделать любой вариант, — сказал он. — Пусть только напишут, какой им нужен.

Он улыбался, даже когда говорил про неоплаченные месяцы. Я пообещал разобраться.

К первому совещанию я подготовил отчёт, в котором было видно, что наша часть готова, а дальше без решения заказчика двигаться нельзя. Я проверил каждую цифру и взял с собой распечатки переписки.

Одного из начальников звали Сорокин. У него постоянно тряслись руки — я замечал это и позже, когда мы встречались в спокойной обстановке. Он перевернул первую страницу, пригладил вторую и сказал:

— У вас плохой отчёт.

За столом сидел его начальник. Я открыл ноутбук.

Следующие сорок минут я защищал отчёт: показывал, откуда взялись цифры, находил письма, зачитывал вслух даты. Сорокин сначала возражал, потом притих. Я доказывал уже его начальнику и боялся остановиться прежде, чем окончательно станет понятно, кто из нас прав.

В конце мне велели всё переделать.

Вечером я пришёл к Эдуарду Львовичу. Он налил себе чаю и молча слушал мой пересказ. Когда я опять полез за распечатками, он сказал:

— Вы сегодня сорок минут решали не ту задачу.

Я замер с открытой сумкой.

— Отчёт нормальный. Вы сами его читали.

— Читал, — подтвердил он. — На кого смотрел Сорокин, когда сделал замечание?

Я вспомнил. На своего начальника — ещё до того, как перевернул страницу.

— Ему надо было показать, что он вас контролирует, — сказал Эдуард Львович. — Он сделал замечание подрядчику при руководстве. Вы сорок минут объясняли руководству, что его начальник управления не разбирается в собственной работе. Теперь ему что сделать? Поблагодарить вас?

— А я что, должен соглашаться с любой чушью?

— Спросите, что он хочет видеть в отчёте. Зайдите к нему до совещания.

Мне это не понравилось. Я собирался ещё раз показать, что все претензии уже разобраны, но он сидел с кружкой и ждал. Из сумки торчал угол бумаги. Я заправил его внутрь.

В четверг я пришёл к Сорокину один. Он долго листал отчёт, пока я стоял у его стола.

— Вы здесь пишете: «Готово», — сказал он наконец. — А что готово? У вас, может, и готово. У меня люди на старой системе сидят.

Раньше я бы сразу объяснил разницу между технической готовностью и вводом в эксплуатацию. Теперь спросил, что ему нужно для доклада.

Оказалось, одна страница: что сделано, что предстоит и чьего решения мы ждём. Мы составили её прямо у него в кабинете. Он придвинул ко мне стул. В конце я договорился показать ему окончательный вариант до рассылки.

Сорокин подписал наш акт. Отдел по-прежнему не был передан, но по крайней мере впервые после совещания у меня появилось что-то, кроме новой даты следующего совещания.

Мы вместе спускались в лифте. Между этажами он вдруг заговорил про дочь, которая училась на биофаке: рассказал про экзамены, про общежитие, про то, как она запретила ему звонить в деканат. На первом этаже придержал дверь, чтобы закончить. Я слушал и кивал. Он всё ещё держал мою папку; пришлось напомнить.

К Эдуарду Львовичу я вернулся с подписанным актом и рассказал, как получилось договориться, а потом вспомнил про дочь Сорокина.

— Начальник управления! — усмехнулся я. — А дочь запретила звонить в деканат, и он послушался.

Эдуард Львович посмотрел на меня.

— Вы и при нём так же шутили?

— Нет.

— Хорошо. Сарказм убивает уязвимость.

Я ждал продолжения, это было заметно.

— Он рассказал вам, за кого переживает и где ничего не может решить. Улыбнётесь не так — и больше он вам этого не покажет.

— Надо, чтобы доверял?

— Да. Тогда коммуникация становится дешёвой. Он может сразу сказать, чего не понимает. Вы можете признаться, что чего-то не знаете. И за пять минут договоритесь о том, вокруг чего иначе ходили бы неделю.

Он положил акт на стол и спросил, что теперь мешает работе. Мне хотелось, чтобы он сначала заметил то, что уже получилось.

— Они всё равно не договорятся, — сказал я.

— Сходите вечером через двор. Я предупрежу, что вы придёте.

Там, в двухкомнатной квартире на первом этаже, сидели четверо методологов. Вместо мебели — доски и раскладные стулья. Главной была Тамара Сергеевна, бывшая преподавательница логики. Она говорила тихо и курила одну за одной.

Я нарисовал на доске всё, что успел узнать про отдел учёта. Получилось аккуратно. Тамара Сергеевна посмотрела и спросила, кому нужна эта схема.

— Нам. Чтобы запустить систему.

— А им?

Я принялся объяснять, сколько ручной работы исчезнет после запуска. Она ждала. Я уже начинал узнавать это молчание.

— Сорокину нужен отдел, — сказал я. — Второму тоже.

— Зачем?

— Чтобы управлять.

— Чем?

Я стоял с маркером у двух одинаковых прямоугольников и не знал, что ответить.

— Глеб, они три года не могут договориться, — сказала Тамара Сергеевна. — Три года это кому-то удобно. Найдите кому.

На работе мне с утра звонили за решениями. Здесь я не мог дописать два слова.

Домой я в тот вечер приехал поздно. Потом стал приезжать поздно каждый день.

Я и раньше входил в комнату и чувствовал, кто здесь главный. Кто-нибудь говорил: «Ну, как скажешь», — остальные переходили к следующему вопросу, а мне казалось, что разговор на этом закончился. Дальше можно было уже ничего не обсуждать: делать вместе они не будут. Объяснить не мог. Мне говорили: тебе показалось — нормально поговорили. И я соглашался, потому что предъявить было нечего. Это было похоже на слух без нот.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.